С. Н. Сергеев-Ценский

Искать, всегда искать!

(Преображение России - 16)

Москва
Книга по Требованию

УДК 82-3
ББК 84

С. Н. Сергеев-Ценский
Искать, всегда искать!: (Преображение России - 16) / С. Н. Сергеев-Ценский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 174 с.

ISBN 978-5-4241-1744-2

Историко-революционная эпопея «Преображение России» — главный творческий труд Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875—1958), монументальное произведение, которое было задумано художником еще в начале его литературной деятельности.
"Преображение России" включает в себя двенадцать романов и три повести, являющиеся совершенно самостоятельными произведениями, объединенными общим названием.

ISBN 978-5-4241-1744-2

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011
© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

Сергеев-Ценский Сергей
Искать, всегда искать !
(Преображение России - 16)

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский
Преображение России
Эпопея
Искать, всегда искать!
Роман
Содержание
Часть первая. - Память сердца
Часть вторая. - Загадка кокса
Примечания
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...
К.Батюшков.
I

В июле 1917 года на берегу моря сидели трое: женщина лет тридцати учительница из Кирсанова, ее маленькая, по четвертому году, черноглазая дочка и высокоголовый блондин, человек лет двадцати девяти.

Этот последний был только недавно вывезен из Акатуя, и ему позволили небольшой, после двухлетней каторги, отдых у теплого моря, с тем, чтобы уже в середине августа быть в Петрограде, на революционной работе.

Учительницу звали Серафимой Петровной. Она была с ребяческой талией, с небольшим вздрагивающим ежеминутно лицом. Она казалась очень усталой. Она просила здесь всех, кто жил с нею рядом на даче:

- Только ради всего святого не говорите со мною о гимназиях!.. Не говорите об учителях, начальницах, классных дамах... Этого я не выношу! Я разревусь, если услышу!

На узких кистях ее рук очень отчетливы были все мельчайшие вены, белые хрящи, сухожилия, суставы пальцев: совершенно лишним было бы в случае нужды просвечивать их рентгеновскими лучами. И что бы ни попадало в тончайшие эти пальцы - цветок ли, перистый ли листок мимозы, мягкая ли, молодая, смолистая, яркая шишечка кипариса, - они совершенно непроизвольно начинали мять это, терзать, калечить, двигаясь при этом с удивительной быстротой; потом отбрасывали искалеченное и хватались за что-нибудь другое, чтобы также истерзать и бросить.

Страдальческие, с часто мигающими ресницами глаза ее были такие же темные, как у ее дочки Тани. Только у Тани глаза были с неистощимо разнообразным выражением: от явно лукавого до явно тоскливого; у матери ее только испуганные, временами даже жуткие, пожалуй. Ясно было для каждого, что это - вконец измученная женщина. Однако говорила она очень быстро, спеша скорее все высказать, не задумываясь над словами. Но, проговоривши так минут десять, она бралась тонкой рукой за тонкую шею и обрывала шепотом:

- Ну вот, кончено! Больше я уж не могу: сухой фарингит!

Революционер же, товарищ Даутов, в таких случаях говорил ей густым несомневающимся голосом:

- Переутомления учителей мы уж не допустим, шалишь! Это наследие гнусного старого режима мы вырвем с корнем!

Чтобы тело его дышало беспрепятственно, он закатывал рукава рубахи выше локтей и расстегивал все пуговицы на груди. Видя это в первые дни, учительница краснела до того, что глаза ее становились рубиново-розовыми, точно она видела грубейшую ошибку в тетради своей первой ученицы; потом она привыкла.

Она же сама была всегда одета по-северному чопорно; однако жара ее мучила, как воспоминание о гимназии, поэтому она не выпускала из правой руки лакированной ручки китайского зонтика.

Иногда она как будто забывала, что она не одна: устремляя болезненно мигающие глаза в морскую даль, она говорила матово-беззвучно:

- Вот... Итак, вот... Я сливаюсь с морем...

Даутов видел, что это она говорит не ему, не для него, что она думает вслух.

Так как сам он мог говорить только о революции, то он стремился разъяснить ей глупость попыток Временного правительства продолжать войну, в то время когда солдаты стали уж настолько сознательными, что неудержимо бегут из окопов.

Как Серафиму Петровну нельзя было увидеть без китайского зонтика, так его нельзя было представить без газеты. Но только лишь он развертывал ее, шурша и шелестя, чтобы прочитать вслух о том или о другом, она отшатывалась в полнейшем испуге; глаза у нее становились страшными; она шептала:

- Нет, нет, пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо!.. Я вас очень прошу. Не надо!

И потом она прикусывала тонкую бледную нижнюю губу очень ровными, всегда чистыми, отливавшими голубой глазурью зубами и так несколько мгновений оскорбительно смотрела на него не мигая.

Этого он не мог понять; его смешило это... Он откидывал стриженную под ноль, кофейную от загара голову и хохотал неподдельно; она же отворачивалась, подымая едва заметные плечи, и около прозрачных ушей ее что-то билось и дергалось.

Темные свои волосы она причесывала гладко, закручивая негустую косу сзади в правильный небольшой кружок.

Дачников теперь, в довольно сильно потревоженное уже время, было мало в этом небольшом местечке, которое раньше, до войны, очень оживлялось летом.

Море казалось запущенным, одичалым... Неизвестно, из чего складывалась теперь первозданность, какая-то девственность гор, но она очень была заметна даже Даутову, который бывал здесь когда-то раньше, почему приехал сюда и теперь.

Горы как будто отошли дальше, море как будто опустилось ниже, - и Даутову было ясно, что учительница из Кирсанова несчастна уже и тем, что первое море в ее жизни оказалось такое вот именно - одичалое, опустившееся море.

И когда ему становилось особенно жаль учительницу с сухим фарингитом, он захватывал обеими дюжими руками маленькую Таню и начинал ее подбрасывать и целовать. Тане нравилось это; она хихикала негромко, но очень довольно; она вообще была жизнерадостна.

- Посюшьте! Сюшьте! - говорила она по утрам, встречая его. - Здрассте!

И тянула к нему выше своей головы крошечную, совсем игрушечную лапку.

Со слов матери она заучила кое-какие стихи из детских книжек и старалась

произносить их как можно выразительней, очень кругло открывая влажный, яркий, мелкозубый рот. Даутов же при этом любил следить, как на сытых, мягких щеках ее то появлялись, то исчезали, растягиваясь, лиловые ямки и как то округлялись, то жмурились желающие нравиться глаза.

Когда она приходила к нему в комнату, то говорила церемонно еще из дверей:

- Посюшьте! Я - в гости!

И потом начинала внимательно рассматривать все его вещи.

Даутов замечал, что она не без кокетства взглядывала на него, когда прикасалась к тому или иному в его комнате, и что у нее было четыре степени хорошего для того, что она у него находила.

Так, вертя в ручонках набалдашник его палки, гладкую круглую голову моськи, выточенную из моржовой кости, она неизменно говорила:

- Ин-те-рес-ная моська!

Проводя пальцем по перламутровой пепельнице, она тянула:

- Лю-бо-пыт-ная штука!

Прижимая то к одному, то к другому уху раковину, которая гудела, она делала большие глаза и шептала:

- За-ме-чательная очень!

Но когда она доходила до лягушки на бюваре, сделанной из зеленого уральского малахита, - правда, довольно талантливо, - она вскрикивала изумленно:

- Ка-кая роскошная!

Бывало иногда, что гудевшая раковина становилась только "любопытной", а пепельница из перламутра "замечательной", но зеленая лягушка на бюваре продолжала оставаться "роскошной", и это была высшая степень похвалы, на которую была способна Таня.

У всякого двадцатидевятилетнего есть своя "первая любовь" в прошлом; иногда это касается раннего детства. Была такая отроческая первая любовь и у Даутова - восторженная, застенчивая, стыдливая, тревожащая, дурманящая и сладкая, с кучей неотправленных писем, ревностью и слезами. И теперь, когда он отдыхал от каторги у моря, Танины глаза и лиловые ямки, и даже та торопливость, с какой она говорила свое "Посюшьте! Сюшьте!", и многое другое в ней странно напоминало ему Марусю Едигареву, гимназистку, о которой он давно уже ничего не знал. И он почему-то даже очень ценил теперь то, как Таня говорила ему, покачивая головкой:

- Сюшьте: вы - мой приятель!

Она приходила к нему показывать свои куклы; рассказывать, какая из них послушна, какая все капризничает; пропускать свой поезд сквозь туннели.

Туннели должен был подставлять он ей безостановочно, потому что она безостановочно двигала по полу свой поезд, состоящий из зеленых еще ягод шиповника, нанизанных на длинную нитку, и Даутов - это требовало быстрой сообразительности - пропускал поезд под ножками стульев, ночного столика, дивана, наконец между двумя книгами, поставленными шалашиком на полу. Когда он уставал, то устраивал крушение поезда, и она сначала испуганно всплескивала руками, потом хохотала с ним вместе.

Когда они сидели втроем около моря, бывало, что Таня подходила поспешно к матери и шептала ей на ухо. Тогда Серафима Петровна краснела вся сразу и

уводила ее в ближайшие кусты. При этом она бормотала:

- Дщерь моя, как ты жестоко меня конфузишь!

Только в таких именно случаях она и называла Таню "дщерью", но почему-то эта маленькая странность в учительнице нравилась Даутову.

Дачка, на которой они жили, принадлежала скромным старикам. Хозяин был отставной чиновник в маленьком чине и любил возиться со своим цветником, в котором срезал и иногда дарил мелкие букеты петуньи, вербены, гелиотропа Серафиме Петровне и говорил при этом, делая очень продувные глаза:

- Вот мы какие! Взгляните и полюбите!.. А во-оды мы пьем, а навозу мы жрем, - этого вы себе и вообразить не в состоянии!

Он часто улыбался по-детски, этот седенький и кволый Степан Иваныч, а жена его, Дарья Терентьевна, была гораздо серьезнее мужа, может быть потому, что сколько уже лет вела скупое домашнее хозяйство: такое маленькое хозяйство приучает в конце концов к немалой серьезности.

Личико у нее было всегда нахмуренное, а белые волосы спереди челкой, сзади - крохотным пучком. Тремя лоснящимися крымскими яблочками круглились скулы. И подбородок, а все остальное уходило внутрь.

У стариков была пожилая тоже, серая коза Шурка с одной дойкой, как пуговка, зато с другой - как четвертная бутыль. Шурка постоянно бедокурила, как все козы, и непременно лезла туда, куда ей запрещали, - лезла неотвратимо.

Чтобы наказать ее, Дарья Терентьевна подбиралась к ней, держа руки под фартуком и скромно глядя себе под ноги, но, подобравшись, стремительно хватала ее за ухо левой рукой, а правой колотила по голове.

- Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!.. - так раз до шести.

Больше Шурка обыкновенно не могла вытерпеть и убегала, а когда убегала, то благодаря своей чудовищной дойке казалась пятиногой. А Дарья Терентьевна прикладывала обе руки к сердцу и говорила скорбно:

- Ах!.. Ах!.. Сердце мое как в коробочке бьется!.. Зачем я, стылая, Шурку била!

Однажды Степан Иваныч привел к себе новых дачников - небольшое французское семейство, в котором был очень красивый пятилетний мальчик Анри.

Французы поселились в самой большой комнате, и Анри занял все мысли Тани.

Она говорила Даутову сообщительно:

- Теперь Анри - мой приятель, Анри!

- А я-то как же? - изумленно спрашивал Даутов.

- Как?.. Так... Я не знаю как... - задумывалась было она, но скоро убегала к Анри, которого она понимала гораздо лучше, чем Даутова, хотя тот знал очень мало русских слов и плохо их выговаривал.

Она с восторгом отмечала в Анри и то, что он охотно играл с нею, но ни за что не хотел принимать в игру девочку соседей.

- По-че-му? - спрашивала его Таня лукаво.

- Она-а некрасивое девочка! - объяснял Анри.

Даутов, видя их вместе, говорил Тане, сам не зная почему, с неподдельным оттенком грусти:

- Так ты, Таня, значит, изменила мне, а?

Таня разводила ручонками, задумываясь, как это делают взрослые, когда чего-

нибудь не понимают, но отвечала твердо:

- Да... Изменила!

Серафима Петровна оставляла теперь Таню играть с Анри и уходила к морю вдвоем с Даутовым, все-таки умоляя его:

- Только не берите, пожалуйста, с собой газеты! Я вас прошу!

Таня не знала, о чем они говорили, уходя вдвоем, и не думала об этом; она замечала только, что, когда они возвращались, мать подбегала к ней, несколько даже смешно, как наседка, растопырив руки, целовала дольше и сильнее, чем обыкновенно, и бормотала не совсем внятно:

- Ну что, Танек, ничего с тобой?.. Тебе весело?.. А я так боялась!

Но Анри пробыл на их даче всего только четыре дня: отцу его, диабетику, стало почему-то хуже, и он решил перейти на другую дачу, где обещали лучшие обеды. Это было далеко где-то, и Таня не видела больше Анри. К морю снова начали ходить втроем.

Однажды Серафима Петровна увидала в руках Даутова какие-то ромбы чего-то почти прозрачного, как ей показалось - каменной соли. Так она и спросила:

- Это что у вас? Каменная соль? Откуда вы ее взяли?

- Нет, это - исландский шпат, он же известковый шпат... Откуда я его взял? Видите ли, мне сказали, что тут в одном месте на горе есть месторождение исландского шпата. Я пошел туда и вот, как видите, нашел... Минерал очень любопытный...

- Зачем он вам нужен?

- Мне лично, да еще в данное время, решительно ни за чем не нужен. А так, вообще, он любопытен... Прежде всего, он двуосный, то есть обладает двойным преломлением света... Шлифуется, как стекло, употребляется для оптических целей.

- Вы об этом так говорите, как будто вы геолог?

- Да, я в этой области кое-что знаю.

- А как же вы мне сказали, что ваша профессия - делать революцию?

Он улыбнулся:

- Одно другому не мешает... И одно дело - что-нибудь делать, другое знать что-нибудь: например, об известковом шпате.

Когда он улыбался, то лицо его становилось очень мягким, даже будто застенчивым. Глядя внимательно на это его улыбающееся мягкое лицо, спросила живо Серафима Петровна:

- Неужели вы кого-нибудь убили? Я не верю!

- Убил? Нет, не пришлось... Не случилось никого убивать... Да ведь я и не террорист. Члены нашей партии в губернаторов стрелять считают излишним занятием. На место одного убитого ставили другого, такого же, - так было... А делу революции от этого был явный вред.

- Ну, хорошо, допустим, вы в губернаторов не стреляли... За что же в таком случае вас отправили на каторгу?

- За антивоенную пропаганду.

- Вот как! За антивоенную?.. Как же вы ее вели... и где?

- Ну вот - "как"! Вел так, как находил возможным, а где именно? Там, где было вообще много солдат... Впрочем, делал я это везде, где мог, но недостаточно осмотрительно - потому и попался.

- Отчего у вас на голове - простите за нескромный вопрос! - какая-то плешина сбоку? Это вас били жандармы? Или вы просто упали на что-нибудь?

- Жандармы? Вот это? - дотронулся Даутов до плешины. - Нет, это не жандармы... Это было раньше. Это еще до вступления в партию меня однажды хотели убить... Потом-то меня не один раз били, но уже на более законном основании, а это - простая случайность.

И Даутов опять улыбнулся скромно и добавил:

- Когда сидишь на берегу такого вот моря и всякая тут красота вокруг тебя, то даже перестаешь и верить, что с тобою что-то такое было... Однако вспоминается кое-что... И больше всего почему-то ссылка - больше ссылка, чем каторга... Должно быть, потому, что она была сначала и не в привычку, а каторга уже после, и в ней мало оригинального... Главное, в первый раз поэтому очень всякие незаконности отмечались и возмущали, конечно. Гм... даже смешно. Наказывает тебя самодержавная власть, делает она с тобой, что ей угодно, а ты все-таки требуешь, чтобы она тебя уничтожила не как-нибудь, а непременно по закону! По закону, какой она же сама и сочинила! Теперь уже это кажется смешным, а тогда возмущало очень серьезно.

- Например? Что же возмущало?

- Например?.. Гм... Что бы вам такое вспомнить? Например, хотя бы то, что от Самары до Красноярска вели меня в наручнях, а этого политическим ссыльным совсем не полагалось... И вот я протестовал всячески, подавал даже заявления по начальству, - смешно!.. Как будто это могло к чему-нибудь привести! А идти все время в наручнях - с непривычки это тяжело казалось. В Красноярске пересыльная тюрьма огромная - четыре корпуса двухэтажных... И вот вы представьте, что было: каждую неделю через эту тюрьму проходила огромная партия каторжан, человек полтораста, и больше всё политические... Так боролось с нами покойное царское правительство. Нельзя отказать ему - в очень широких масштабах велась борьба... Не борьба, а война внутри страны. И все-таки мы победили!

- В каких же местах вы были в ссылке?

- Не так далеко от Енисейска... От Красноярска до Енисейска доехали водою, а в Енисейске продержали недолго, недели две... Только очень гнусная там была тюрьма и часовые какие-то свирепые: чуть подойдешь к окну, стреляли без всякого предупреждения... Для чего, спрашивается, такие строгости в отношении к ссыльным? Опять всё - незаконно! Возмущались!.. Действительно, ведь через две недели нас просто сдали по списку урядникy, урядник разбил нас на партии, и вот с нами только десятский - с бляхой медной и с палочкою, - корявый мужичонка, чалдон, и мы в великом изумлении идем по лесу, точно гуляем, - птицы поют, бабочки летают... Только потом оказалось, что радости в ссылке мало, а прежде всего в деревушке этой, куда я попал, в Шадрине, есть было нечего... Шадрино, Бельской волости... деревня в шестьдесят два двора... Пришел я туда больным, в лихорадке, со стертыми ногами и без копейки денег... Страшно я там голодал, потому что денежно помочь мне было некому. Конечно, чалдоны ни куска хлеба в долг не давали, а работы у них найти тоже было трудно. Хорошо, что сенокос подошел, - нанялся я к одному сено косить, по полтиннику в день. Неделю косил сено... А мошки, или гнуса этого, как его там называют, миллиарды!.. Весь я был изъеден, распух, едва дотащился до деревни, слег... сапожонки

на мне все расползлись от сырости зачинить нельзя... Пришлось вообще их бросить. Полежал-полежал - ничего не поделаешь: есть надо - пришлось встать. А тут как раз вздумали ссыльные, какие были в этой деревне со мною, заработать что-нибудь на кедровых орехах... Да ведь вот - связно не расскажешь - слег я и лежал уж не в Шадрине, а в Ялани - это село, и больница там, - недели две я лежал в яланской больнице с ногами, потому что пришли они в сквернейшее состояние. А за кедровыми орехами пришлось идти в тайгу, рядом, конечно, - в Сибири и триста верст расстоянием не считается, - в так называемый Молчанов бор, а в Молчанов бор попасть можно было только через деревню Тархово, а Тархово от Шадрина - пятьдесят верст. Да потом спуститься вниз по течению реки Больше-Кети еще за шестьдесят верст... А я с только что подлеченными ногами пошел босиком, по корням, по кочкам, по осоке, по гнуснейшему бездорожью, какое там зовется дорогой. Ни один чалдон на это бы не решился, но что же делать, - сапог у меня не было... Была только некая туманная перспектива заработать себе на сапоги орехами... Сначала набить мы должны были шишек, потом эти шишки жарить, потом молотить, - намолотить таким образом несколько чувалов и благополучно все это доставить. А никто из нас этим делом раньше не занимался, и местности мы, конечно, не знали... Нам чалдоны только две лодки доверили... да ведь какие лодки? Долбенки, душегубки... На них чуть не так повернулся - и плыви! Или тони, если плохо плаваешь... А у меня был такой товарищ, что ни грести не умел, ни плавать... Я сорок верст греб один... до кровавых мозолей руки себе набил, и в результате... товарищ мой перевернул как-то душегубку и утонул... Тем экспедиция за орехами и кончилась. Я кое-как выплыл, и вот когда я намучился вдоволь, пока нашел остальных... а они задержались - хлеб в одной деревне брали...

- Ну, хорошо, - отчего же вы не бежали, если могли уходить так далеко одни, без всякой охраны? - очень удивилась Серафима Петровна.

- С чем же и как бежать? Без сапог, без денег, без поддельного паспорта? Так далеко не убежишь... А потом я бежал, конечно, когда получил деньги. Но тут началась война, и, конечно, ринулся я в антивоенную работу... А уж за это во время войны - хорошо еще, что присужден был только к каторге!.. Могли бы подарить и столыпинский галстук.

- Зато уж теперь можете вы не бояться ареста!

- И свободно вести антивоенную пропаганду? - улыбнулся Даутов.

- Но ведь революция уже совершилась!

- Однако война продолжается или нет?

- Ну, если и продолжается, то как-то уж очень вяло.

- Как бы она вяло ни продолжалась, но продолжается... Конечно, мы ведем энергичнейшую пропаганду на фронте, и фронт почти уже развалился, солдаты бегут домой, но нужно, чтобы не почти, а совсем он развалился, это раз, а во-вторых, надо, чтобы революцию...

- Углубить? - подсказала она быстро.

- Да, из буржуазной сделать социалистической... Вы не владелица, скажем, пяти тысяч десятин чернозема или угольной шахты, не попадья, не купчиха, не генеральша... Зачем вам такая революция, как теперь? Вы учительница, значит принадлежите к трудовой интеллигенции, значит ваши интересы и мои - одни и те же, - я тоже из трудящихся интеллигентов... Кажется, ясно, что, чего добиваюсь

я, того же должны желать и вы.

Даутов смотрел на Серафиму Петровну теперь не улыбаясь. Она спросила:

- Чего же желаете вы?

- Диктатуры пролетариата!.. Диктатуры трудящихся, которым война не нужна, которых война истребляет, как теперь, миллионами... Вот чего мы желаем! Мы желаем и еще очень многого, но этого, чтобы не было больше войны, - этого прежде всего!

- Я никогда не интересовалась партиями и вообще политикой, - сказала она, вдруг покраснев, - но я догадываюсь теперь, кто вы такой!.. Вы большевик?

- А вам страшно? - улыбнулся Даутов.

- Нет... Мне что же... Хотя я и слышала, что большевики за то, чтобы отобрать всякое вообще имущество, но у меня ведь одна только Таня... Надеюсь, ее вы у меня не отберете?

- Не надейтесь: если плохо будете ее воспитывать, отберем! - с виду серьезно ответил Даутов, но добавил, улыбнувшись светло: - Однако она у вас очень славный малый - значит, вы ее воспитываете хорошо. Но на время отобрать ее у вас вы мне позволите?

- Можете, - кивнула она, и подошедшую в это время к ним, а до этого недалеко в разноцветном морском песке возившуюся Таню Даутов поднял с земли, поднявшись с нею вместе, и пошел, держа ее на руках, вдоль берега, предоставив учительнице из Кирсанова в одиночестве обдумать вторжение его в ее утлый мирок.

Таню же привлекла ярко-зеленая кудрявая купа молодой поросли около береговой дороги.

- Это что? - показала она на нее пальчиком.

- Это? Уксусные деревья... Конечно, они пока еще не деревья, они пошли от корней... Вон там, в чьем-то саду - видишь? - там большие уксусные деревья, а эти кусты пошли от корней...

Он хотел еще подробнее объяснить, что это за деревья и почему называются уксусными, но Таня уже показывала на какую-то траву с крупными желтыми цветами и спрашивала:

- А это что?

- Это?

Даутов подошел поближе к желтым цветам и рассмотрел их внимательно.

- Это... судя по тому, что венчики четырехлепестковые, и по устройству листьев, - это, конечно, мак, хотя вот плоды похожи скорее на стручки, чем на коробочку мака...

- А это?

Таня показала на крупную зеленоватую каменную глыбу, торчащую около дороги.

- Это диорит! - уже не задумываясь, определил Даутов.

- Тирири! - повторила по-своему и вздохнула почему-то Таня, а маленький пальчик ее с розовым ноготком тянулся уж куда-то еще, но Даутов повторил раздельно:

- Ди-о-рит!.. Изверженная глубинная порода... Это каменная бомба... Когда-то вылетела из вулкана... Вот эта гора, - указал он, - должно быть, была когда-то вулканом.